



*Сергей Прокофьевич Пылев родился в 1948 году в городе Коростене Житомирской области. Окончил отделение журналистики Воронежского государственного университета. Работал журналистом в воронежских изданиях, главным редактором журнала «Воронеж: Время. События. Люди», заместителем председателя правления Воронежской организации Союза писателей СССР. Автор десяти книг прозы. Лауреат премий «Кольцовский край», журнала «Берега», награжден медалью им. В.М. Шукшина. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.*

**Сергей Пылев**

## **МАЛАЯ РОДИНА**

*Повесть*

**К**ласса с пятого мы каждый учебный год старательно под строгим учительским надзором писали сочинение о родине. В сентябре — о Родине большой, в мае — о родине малой. С раскрытием темы об Отчизне у меня проблем не было. Как-никак, оба моих деда — фронтовики Великой Отечественной, а одна из бабушек — партизанка. А вот сочинения про малую родину у меня настойчиво буксовали. Отличник по всем предметам, я за них каждый раз получал «тройки» и даже иногда «колы», чем окончательно выводил из себя мою любимую учительницу русского языка и литературы Ирину Юрьевну. Но что я мог поделаться? В силу определенных жизненных обстоятельств малой родины у меня не имелось. Авиапункт, в котором служил мой отец, часто перелетал с места на место. Как говорили летчики, менял дислокацию: Коростень, Поронайск, Гастелло, Сталинград и, наконец, Воронеж.

Мама очень переживала за меня и однажды предложила вместе с папой общими усилиями придумать мне малую родину. Само собой, лучшую из лучших. Однако, как они ни старались, в итоге ничего толкового у нас не вышло. Придумать малую родину почему-то оказалось невозможно. Какая-то нелепица складывалась. Тогда мама решительно предложила от-

дать мне свою малую родину. Она родилась в селе Садовом Сталинградской области, куда некогда Екатерина Вторая сослала восставших запорожских казаков. Но на середине рассказа о своем детстве мама непонятно почему разволновалась и заплакала. На том и остановились.

Кстати, этому отсутствию в моей жизни малой родины, как нарочно, досадно соответствовала моя заковыристая фамилия Безродный. Она сама собой напрашивалась быть «дразнилкой», и дворовые пацаны, где бы мы ни жили, не могли этим не воспользоваться. Так что, когда они, собравшись всей шайкой под нашими окнами, ором звали меня гулять, то на всю улицу звонко кричали: «Родный-безродный, хор народный, выходи!» Кстати, еще раз насчет фамилии. Когда я повзрослел и уже обрел определенный жизненный статус, время от времени мне встречались весьма культурные и начитанные выше крыши люди, которые уважительно интересовались: «А поэт Бездомный из “Мастера и Маргариты” Михаила Афанасьевича Булгакова случайно не Ваш родственник?» На что я несколько виновато отвечал: «Возможно и родственник. Хотя моя фамилия Безродный». Далее следовали интеллигентные, иногда слишком интеллигентные извинения.

Как бы там ни было, когда Ирина Юрьевна в очередной раз объявляла нам, что сегодня мы будем писать сочинение о малой родине, она всегда взволнованно и сочувствующе смотрела в мою сторону. Она знала наперед, что я накарябаю в тетради своим ужасным почерком. И я всегда честно писал в ней одно и то же. Это были всего несколько откровенных и по-своему печальных слов... Чему-чему, а быть искренним меня родители и деды вкупе с бабушками научили. «У меня нет малой родины», — всякий раз уперто объявлял я на тетрадной странице. И всякий раз Ирина Юрьевна, заглянув в нее, торопливо отходила к окну перевести дыхание или неуклюже садилась рядом, если болела моя соседка по парте рыжая Оля. После напряженной, нервной паузы Ирина Юрьевна взвинчено говорила мне по-настоящему страдающим голосом: «Напиши хотя бы, почему у тебя нет малой родины». И я тупо писал. Мне было стыдно за себя. Очень стыдно. И еще я боялся, что ее уволят с работы из-за меня. Однажды я слышал, как директор школы Илья Ильич Заславский, невысокого роста хмурый и ярко лысый крепыш, обозвал Ирину Юрьевну «не патриотичным педагогом!»

«Рожу я, что ли, ему эту малую родину?!..» — печально вскрикнула она и в очередной раз убежала плакать в наш школьный планетарий со звездной россыпью на огромном белом куполе.

Может быть, моя малая родина затерялась в глубинах Вселенной?

Как бы ни было, я успешно окончил школу и поступил в универ на физмат, но на том проблемы с отсутствием у меня малой родины не окончились. Однажды в кустах здешнего парка мои сокурсники под пиво с чипсами наперебой, перекрикивая друг друга, ударились в элегические воспоминания о своем детстве. В основном, по-моему, завиральные. «А сосы у нас в реке с теленка размером!» — «Дед мой в распутицу, жалея лошадь, распрягал ее у горы и сам тащил телегу наверх!» — «Соловьи у нас в Тамбове курских во всем превосходят!» И так далее, и тому подобное.

Когда подошла моя очередь бить себя в грудь и вдохновенно рисовать чарующие пасторальные картинки, я признался, почему этого не будет в моем исполнении. Все как-то разом притихли, словно я признался в некоем неприличном заболевании или гадком поступке.

Тем не менее, ныне малая родина у меня есть. Достиг, так сказать, я ее скромных, но милых берегов — сподобился. Самая что ни на есть она настоящая, с реальными координатами. Та самая, без которой ну никак нельзя в этой жизни быть полноценным человеком. Нет, я ее не сочинил, как когда-то отчаянно намеревался. Более того, я не присвоил себе чьи-то чужие воспоминания о чужой малой родине.

Она у меня сегодня реально имеется, и она истинно моя. Только по целому ряду жизненных обстоятельств мне уже практически некому рассказывать о своей малой родине под пиво или даже подо что-то более крепкое.

Разве что вам?..

После первой зимней сессии на журфаке мой однокурсник Виталий Еремин пригласил меня отдохнуть в его родном поселке Касторное соседней Курской области: «Гарантирую классную рыбалку, полную корзину отменных белых грибов и три классных дня на сельской свадьбе! — энергично, шире своего собственного лица, улыбунулся он. — Мой тамошний лучший дружан завтра женится. Главный инженер “Сельхозтехники”».

Я не сразу, но согласился. Кажется, в итоге во мне сработало некое интуитивное предчувствие важности этой нежданно-негаданной поездки.

Одно меня чуть было не тормознуло.

— А что мы преподнесем твоим молодоженам?

— Ты что, не врубился, куда мы едем? Самый лучший для жениха подарок — это мы с тобой и наши кулаки!

— А они тут причем?.. — тупо переспросил я.

Виталий снисходительно обнял меня.

— На селе свадьба не свадьба, если она без драки! Чтобы, конечно, не очень всерьез. Так сказать, до первой крови.

Я жил на Сахалине в землянках и японской минке из бамбука и бумаги, на материке приходилось тесниться в коммуналках, но деревня или село были для меня настоящей terra incognita. Тем не менее, как считал я, сельская жизнь вряд ли могла стать для меня серьезным откровением. Что-то я о ней все-таки знал. Пусть и вприглядку. Напротив нашей хрущевки в годы оные располагался Центральный колхозный рынок Воронежа: под открытым небом и со всеми сопутствующими ему запахами, не всегда достаточно ароматными, — лошадиного пота, сена, гнилой картошки или скисшейся капусты, мокрых фуфаяк и самогона. Хотя неподалеку стоял как вросший в землю одноэтажный «Дом колхозника», больше похожий на заброшенный амбар, селяне предпочитали по разным причинам ночевать на рынке под рогожками при своем товаре, устроившись спать вместо каких-никаких матрацев на грубых холщовых мешках. Перед сном они почти всегда негромко пели, и я, как ни зажимал уши, был-таки достаточно в курсе их тогдашнего репертуара: «Степь да степь кругом», «По Дону гуляет казак молодой» и, кажется, «Бродяга». Само собой, под аккуратнo, застенчиво звучащую в тесноте городских безликих стен улыбочивую гармонь-хромку.

— Резиновые сапоги у тебя есть? — вдруг строго спохватился Виталий.

— Найду, если хорошо поискать. А зачем они?

— Завтра дождь обещают. Так что ты по тамошнему чернозему в другой обувке дальше станции не уйдешь.

Свадьбу наладили в саду, то есть сразу за домом на шести сотках, затененных густотой ветвей весенних яблонь и груш, словно снегом поросших своими облетающими цветками. Правда, решились вынести праздник на свежий воздух только тогда, когда здешний дед Буратино, прозванный так за свой понятно какой длины нос, верней всех дипломированных специалистов метеослужб чуявший будущую погоду, не объявил со снисходительной усмешкой: «Дождя не будет, люди...»

На свадьбе запели после второй рюмки. Не по чьей-либо просьбе или, более того, настоянию, а само собой, на радостном долгожданном порыве, всей свадебной гурьбой враз почувствовав, что им без песни уже никак нельзя. Пора, брат, пора!

Вначале всем кагалом, но, тем не менее, разгонно, разноголосо ахнули для прочистки горла, для разминки вдоха-выдоха развеселые «Два гуся», а следом, без перерыва, всей свадьбой в порыве надрывном во всю мощь не пропели — прокричали бодро-зачинное, заводное:

Синий-синий иней.  
Синий-синий иней.  
Синий-синий иней...  
Синий-синий, у-у-у-у-у-у!!!

Мы с моим другом сидели в таком месте относительно жениха и невесты, что для всех были на виду и вполне могли сойти за «свадебных генералов», если бы не наша с ним тогдашняя из всех щелей сквозящая азартная младость.

В любом случае нам, как городским гостям, поставили водку, кажется, очень даже плюсовой марки «Байкал» — остальные нагоняли градус настроения местным яблочным самогоном, умело приправленном мятой да кипреем, отчего в итоге являлось на столы вполне душевное произведение, вдохновенно располагающее и к песне, и к философским размышлениям за жизнь, и к мордобою.

Когда публика взвихренно-радостно выдала забористое донельзя «синий-синий, у-у-у!», я вдруг взволнованно встал. Как охотник, услышавший в лесной птичьей разноголосице заветный волнующий звук.

— Сейчас... Погоди... — шепнул сокурснику и по возможности аккуратно пошел вдоль спин гостей, устройствшихся у свадебных столов на заметно просевших под ними досках, укрытых коврами, ковриками или шерстяными одеялами, — а некоторые так и вовсе восседали на подушках.

Я шел с закрытыми глазами. Чтобы ничто не помешало мне найти девушку, голос которой я только что выделил среди всех. Был ли он лучшим в этом самостийном хоре, не уверен. Но я его полюбил. Но более всего я враз полюбил саму певунью. И теперь протискивался к ней между гостями как на самый что ни на есть настоящий брачный зов. Кстати, когда мы поженились, она почему-то перестала петь. Хотя в гости мы ходили достаточно часто. Это косвенно подтверждает, что ее тогдашнее пение на свадьбе в самом деле было брачным призывом.

И пока я шел на ее голос, он становился все громче, словно чтобы я не сбился с пути. Эта девушка уже как бы догадывалась, зачем идет в ее сторону этот незнакомый ей высокий плечистый парень с ажурной, отроческой бородкой и очень располагающей смущенной улыбкой.

У меня до того дня в любовном плане не было достаточного опыта. Вернее, опыта не было никакого. Я не влюблялся ни в детском саду, ни в

школе, а наших дворовых девчонок вообще впритык не видел. Я тогда был влюблен в Космос и писал фантастические рассказы, один из которых пару лет назад на первой полосе напечатала «Пионерская правда». Сейчас я писал стихи, которые, правда, нигде не печатали.

И вот я уже рядом с ней. Я нашел ее. Стою, как бы глядя в сторону, чтобы не мешать ей петь: «Ты, ветер, знаешь все, ты скажешь мне она, она, где она!»

Я такой и представлял ее себе. Она не была голливудского типажа красавица вроде Мэрилин Монро, Джинны Лоллобриджиды или Жаклин Биссет. Она была лучше. Потому что я ее любил. А не любить ее было невозможно. Хорошо, что это было так, а не иначе. Из всего этого скажу, что у любви волновая природа. Как, скажем, у света.

Провожая под вечер ее до калитки, я почему-то сразу понял, что женщина, которая в заношенном байковом халате сосредоточенно курила на высоком крыльце «Беломор», — ее мать. Она почему-то в моем понимании и не могла быть другой, только такая: рослая строгая женщина с лицом несколько смуглым и чертами, которые вполне можно назвать греческими. Над головой у нее из-под крыши прыскали вразлет торопливые деревенские ласточки. На весь двор слышалось их сосредоточенное усердное щебетание: негромкий и просто-таки сердечный перебор особых звуков — «вит», «ви-вит», «чивит», «чиривит» и тому подобное.

Она медленно повернула ко мне свое сосредоточенное лицо. Внешне не отличавшаяся особой красотой, она имела в каждом своем движении столько особой, чуть ли не царственной осанки, что обычно на улице мужики из достаточно немолодых, помнивших еще прежнее житье-бытье в императорской России, при виде ее машинально снимали шапки и строго вздыхали. «Чай, девка из цариц понтийских будет...» — не раз слышалось ей вслед.

— Здравстье... — невольно смявшись, с хрипотцой начал я. — В народе говорят: ласточки строят гнезда только под крышей у хороших людей!

— Александра Ивановна... — сурово вздохнула она. — Гляжу, Маринка, ты привела мне не будущего зятя, а какого-то самодеятельного орнитолога. А в курах или утках он у тебя разбирается хоть маленько?

— Мама!.. — упрекнула Марина.

— Ладно. Проходи, девья... — себе на уме проговорила Александра Ивановна и покосилась на меня. — И ты не торчи перед крыльцом. Если не трус. Там, в доме, еще один Маринкин жених битый час ее выгладывает. Одним словом, картина Репина «Не ждали».

— Неужели Славка?! — сердито напряглась Марина.

В гостиной за столом напряженно сидел, сведя руки за спинкой стула, роста среднего, но явно с отменной мышечной массой плечистый старший сержант ВДВ. От лежавшего перед ним на столе редкого по тем временам букета голландских сочно-белых роз веяло бледным холодком. Рядом устроилась розовощекая коробка со знаменитыми в те годы воровскими конфетами «Песня Кольцова».

Когда я входил, внушительный дембель поглядел в мою сторону так, как реагируют разве что на порыв сквозняка. Не более того.

— Вячеслав Саликов, — бдительно проговорил бывший десантник.

Я что-то нелепо проямлил в ответ. Что сказал, и сам не понял. Кажется, с языка у меня слетела знаменитая фраза из «Гамлета». Та самая, про «быть или не быть?». Прозвучала она в моем неуклюжем исполнении почти как «бить или не бить».

Вячеслав снисходительно, почти сочувственно улыбнулся.

Его фартовая «дембельская» форма, обшитая белым сияющим кантом, убедительно говорила сама за себя: впечатлял и старательно утянутый в талии китель, и то, что рукава, погоны и клапана карманов были украшены зеленым переливчатым бархатом. Армейские обыденные пуговицы и петлицы старательно заменены на позолоченные, ремень лаково-белый, всяся щегольски скрипучий благодаря особой методике прошивки. Кажется, ничто не ограничивало фантазию автора этой идеально отглаженной формы, ярко, бодро сверкавшей всевозможными значками и медалями, порой даже не имевшими никакого отношения к их владельцу. Но все это множество блекло перед наплечным парадным акселем с пышными кистями, густо сплетенными из блескучих серебристых нитей. Именно тот придавал всему дембельскому облику ярко бравый гвардейский вид. Сапоги Вячеслава явно поскрипывали под мелодию песни «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется, ты только жди!»

Через неделю этот парень станет в Воронеже на авиазаводе учеником слесаря, через год — там же мастером, потом старшим мастером, вскоре — начальником цеха, секретарем парткома, главным инженером и в итоге — Генеральным директором и академиком.

Но мало кто помнит, что в девяносто первом тогда еще главный инженер Саликов, замечая ушедшего в отпуск Генерального, не пропустил на завод кортеж с президентом России Борисом Ельциным, рвавшимся выступить перед рабочим народом накануне новых выборов. Не уступил, как ни уговаривал Вячеслава тогдашний губернатор.

Выслушав четкий, бодрый доклад Вячеслава о его службе и нынешних намерениях по созданию прочной советской семьи с Мариной, Александра Ивановна отправила дочь во двор (иди, пшеница курам сыхни!), а сама тяжелым мужским шагом, однако с определенно женственной грациозностью в спине и плечах, направилась в спальню.

Кто-то ждал ее там за дверью.

Вскоре оттуда послышались отзвуки разговора на тех еще повышенных тонах. Минута от минуты они отчетливо нарастали, дойдя до судорожного напряжения. Потянуло едким папиросным дымком.

Почти тотчас в спальне раздался судорожный треск оконной рамы и зуммерящее дребезжание стекла. Кажется, там кто-то порывисто распахнул створки.

— Хуже мужика весь дом прокоптила!!! — донесся оттуда усталый, на пределе сердитый голос явно немолодой женщины.

Это, как я понял вскоре, была старшая сестра Александры Ивановны — Прасковья Ивановна, Паша, никогда не бывшая замужем холостячка из тех, кого обычно уничижительно зовут «седыми макушками». Правда, к ней подобное прозвище не пристало. Во-первых, она, как и ее младшая сестра Шура, то бишь Александра Ивановна, всю жизнь в Воронеже и том же Касторном занималась весьма уважаемым делом — работала главным бухгалтером: то в ЮВЖД, то на хладокомбинате или, как ныне, трудилась в местной ветлечебнице. Во-вторых, однажды Паша, будучи уже девкой лет, наверное, основательно за сорок, так-таки дерзнула пригласить на ужин местного зоотехника — в качестве возможного кандидата в мужья. Тот какой год более чем внимательного поглядывал на нее известным особенным взглядом. Всю ночь из окон их старой хаты слышался резвый наигрыш гармоники. Кажется, зоотехник даже несколько раз в пляс пускался, судя по имевшим место оглуши-

тельным притопам его хромовых офицерских сапог, невесть как раздобытых к такому жизненному случаю. Только наутро Прасковья Ивановна, перебудив половину Касторного, с надсадным, едва ли не паническим криком выставила претендента в мужья. Вовсе даже без чая или той же рюмки. Еще и грабли, поначалу чуть не упав на них, судорожно бросила вслед незадачливому претенденту в мужья. Потом последовала очередь лететь через изгородь его гармоники — она с печальным музыкальным вздохом, распустив свои яркие алые меха, вознеслась над кустами молодой акации.

Причина такого серьезного изгнания неведома никому и поныне.

Как бы там ни было, с этим человеком она больше не виделась. Говорили, он вскоре уехал куда-то к черту на кулички. Лишь однажды Прасковья Ивановна туманно выразилась по поводу того ее несостоявшегося бракосочетания: «Ждали жениха из заморья, а прибыл из задворья...»

Тут дверь спальни открылась более чем решительно. В гостиную с деловитой поспешностью вышла первой на правах старшинства лет семидесяти женщина, которую, как ни глянь, никак не назовешь старушкой, хотя бы даже за один ее резкий, ироничный взгляд. По ее суровому лицу, словно отягощенному своим знанием людей и жизни, можно было уверенно сказать — она знает про людей все то, что им самим о себе и не ведомо.

Она строго-печально приобняла соседского Вячеслава, победно сиявшего парадно-дембельскими красотами десантной формы. Многозначительно вздохнула:

— Простите мне, что я решился к вам  
Писать. Перо в руке — могила  
Передо мной. Но что ж? Все пусто там...

Даже в девяносто с гаком лет, незадолго до своей смерти в Доме престарелых, она, крепко, но нежно держа в своих пальцах мои руки, наизусть читала мне тихим, замороженным голосом поэму ее любимого Лермонтова «Мцыри»...

Шура и Паша, как их обычно называли близкие, а порой и не очень люди, были внешне достаточно похожи. По крайней мере, я сначала их различал лишь по прическам: Прасковья Ивановна носила волосы, уложенные на голове тугим венком, из-за седины похожим на серебряную корону, а у Александры Ивановны были модные тогда длинные пряди, хорошо смотревшиеся даже без укладки — как раз то, что надо для современной, вечно куда-то спешащей деловой женщины. Позже я убедился, что именно взгляд более всего различал сестер: у старшей — сурово-ироничный, пронизывающий, уставший от понимания всего и всех, а у младшей — властный, зоркий и в тоже время сочувственный.

Как бы там ни было, я сразу почувствовал, что мне с моим первым курсом журфака в их женском обществе придется непросто.

Прасковья Ивановна благожелательно посмотрела на демобилизованного воина, над которым словно развевался флаг с гордой надписью «Где мы — там победа!»

— Где жить собираешься, сосед?

— В Воронеже. В общежитии. Устроюсь на авиазавод! — пружинисто ответил Вячеслав, переливчато прозвенев медалями различного достойного происхождения. — Я в десанте служил. Так что кое-что по летной части кумекаю.

Прасковья Ивановна покровительственно улыбнулась: улыбка была

внутренняя, скромно-радостная, так что обнаружила себя только через ее несколько повеселевшие глаза.

Я понял, что моя песенка, кажется, спета.

Прасковья Ивановна в форточку нарочито сердито крикнула Марину.

Она вошла не сразу: напряженная, ни на кого не глядя. Тем не менее, это не помешало ей отчетливо и даже веско сказать:

— Слава, ты иди, ладно?.. Я сейчас за плетнем твою мамку видела. Она так обрадовалась, что ты приехал! И в то же время обиделась — домой не спешишь!

Саликов медленно поднялся, взял со стола импортные царственные цветы и оглядел их так, словно не понимал, что это и зачем.

— Тебе пора, Слава, — настойчиво проговорила Марина.

— Дура-девка... — глухо буркнула Прасковья Ивановна и вдруг боковым зрением увидела, как сестра взволнованно достала очередную папиросу.

Она тотчас ту выхватила, наотмашь бросила на пол и растоптала, просто-таки изничтожила босой пяткой.

Табачную пыль сквозняком подхватило: все как один напряженно закашлялись и зачихали.

Саликов по-армейски лихо прищелкнул каблуками, в быстром поклоне поцеловал Прасковью Ивановну ее смуглую руку с припухшими зигзагами словно бы живых вен и, уходя, наотмашь метнул в окно букет голландских роз, словно боец в бою последнюю гранату во врага.

Прасковья Ивановна судорожно вздернула подбородок, явно пытаясь такой самоизобретенной методикой не допустить появление слез на щеках.

Я тогда не мог не посочувствовать Вячеславу. Однако мое сочувствие было бы еще искренней, если бы я тогда знал некоторые особые подробности их с Мариной былых отношений. Точнее, как раз отношений-то никаких и не было. Года два до армии, когда Вячеслава окрылила любовь к Марине, эти их якобы отношения дальше сельской танцплощадки не распространялись. Да и то они выглядели более чем странно. Так, идя на танцы или возвращаясь с танцев, самое большое, что Марина позволяла Вячеславу, так это идти за ней следом на расстоянии не менее десяти шагов. Само собой, они ни разу не танцевали. Но даже в таких неблагоприятных обстоятельствах чувства Вячеслава к Марине не засыхали, а более того — цвели и пахли со все большей силой. Возможно, они сохранялись на этом уровне всю жизнь, пока в пятьдесят восемь лет Вячеслав, Генеральный директор, академик и лауреат Государственной премии, не погиб в автокатастрофе: он выезжал с дачи вместе со своей кинематографически красивой супругой, когда груженный КАМАЗ взял на бордаж его люксовую иномарку. А на следующий год, только вернувшись со мной с дачи, за чаем на кухне внезапно умерла Марина. Когда ее хоронили, на лице у моей жены была сдержанная добрая улыбка. Возможно, она встретила там Вячеслава и наконец не потребовала от него держаться не ближе десяти шагов...

— Славка, вот увидишь, большим инженером станет! — пророчески возвестила Прасковья Ивановна, когда тот подхватисто перепрыгнул родной плетень, словно десантировался в напряженно ждущую его новую большую жизнь. — А это для мужика самая основательная профессия. Помню, до революции к отцу частенько заглядывали эти самые инженера. Когда на праздник какой, когда по делам: станцию нашу железнодоро-



рожную тогда расширяли. Сколько в них ума было! Сколько порядочности! Высшего сорта люди. Куда твоему филологическому студенту тягаться! На их факультете, слышала я, одни девки учатся! Какого лешего он туда сунулся? Чтобы Маринке с вертихвостками изменять налево-направо? Мелкота!

Александра Ивановна взволнованно раскурила «Беломорину», как поставила перед собой дымовую завесу.

— Не пугай, Паша, грешное с праведным! — топнула ногой моя будущая теща. — Разве не видишь? Разуй глаза! Они любят друг друга. Чего тут мудрить! Вот...

— Это когда же они успели втюриться? — взвинчено хихикнула Прасковья Ивановна и чуть ли не с кулаками подступила ко мне. — Какая такая любовь может быть к деревенской девке у городского стилиста?!

— Когда это моя Маринка деревенской стала? — с емкой грозностью проговорила Александра Ивановна. — Не забывай, она в Воронеже родилась!

— Извините. Можно я пойду на сон грядущий книгу почитаю?.. — вздохнул я как можно радушной.

— Почитай отца и мать! — на гневных слезах крикнула мне вслед Прасковья Ивановна.

Весь вечер сестры вдохновенно ругались. Их не останавливали ни распахнутые окна, ни растворенные двери сеней, ни сошедшие возле их дома соседи и прохожие, явно нацеленные старательно прослушать такую изощренную разборку. Более того, по ходу ее они невольно разделились на две партии, каждая из которых держалась своего мнения относительно исхода сегодняшнего нашего с Вячеславом сватовства: одна часть рьяно была за своего земляка, другая, как ни странно, не менее упорно стояла на первенстве моей кандидатуры.

Я почему-то предполагал, что, в конце концов, Александра Ивановна или Прасковья Ивановна, а может быть, и они обе турнут этот «зрительный зал» с помощью помойного ведра или ловко брошенной метлы.

Однако все вышло по-другому, как я и предположить не мог своими городскими мозгами: то одна, то другая сестры стали выходить к «народу» со своими аргументами, ища понимания и поддержки. Только народ, как было сказано у классика, потупившись долу, всякий раз сосредоточенно безмолвствовал при их появлении. Желанной поддержки не услышала ни та, ни другая...

В итоге Вячеслав женился, опередив нас с Мариной. Точно с эдаким вызовом! Тем не менее, он и она иногда созванивались, но не чаще, чем раз в год. А однажды Вячеслав так и вовсе пригласил нас к себе на Новый год. Был канун двадцать первого века. Кто-то ждал больших перемен к лучшему, кто-то по традиции видел только регресс во всем.

Я предполагал, что Вячеслав рассчитывает потратить нас уровнем своей тогдашней гендиректорской жизни и небывалой красотой его супруги. Последнее в самом деле было неоспоримым фактом. В остальном Вячеслав, к чести его, жил, не выделяясь. Обычная, пусть и четырехкомнатная, квартира в обычном заводском доме на Левом берегу, новогодний стол тоже не демонстрировал олигархических заскоков в виде невозможных блюд, доставленных с помощью авиации из лучших ресторанов того же Парижа или Рима: центровое блюдо — только входившая тогда в моду курица на соли, из классики — селедка под шубой,

румяные отбивные, золотистый холодец и домашние молодцеватые пельмени, а из области изыска — свежие дыни, с оказией прибывшие из Узбекистана.

Утром Вячеслав пошел нас провожать. На другой берег города мы романтично отправились по ледяной броне «Воронежского моря», торжественно повторявшего густое, термоядерное сияние первоянварского Солнца. И тут я на этой ледяной арене вдруг ни с того ни с сего в слепом диссидентском азарте предъявил Вячеславу правду-матку в том плане, что в его заводской газете нет серьезной критики, а только одно торжественное славословие.

Этого вполне хватило, чтобы стать для нас долгожданным поводом схватиться не на шутку.

— Ты говори да не заговаривайся, — напрягся Вячеслав.

— Я за свои слова отвечаю, — отчетливо выдал я.

Мы сцепились и с обоюдным удовольствием принялись валить друг друга чередой подножек. Так как схватка обошлась без «кулачек», то она со стороны вполне могла сойти за баловство. Тем не менее, Марина охала и ахала. Потом принялась плакать, раздосадованная нашей мальчишеской дурью.

В общем, драчуны из нас оказались никакие, но мы старались, как могли, перед ней. В любом случае, остатки пара от бывшего соперничества сполна выпустили.

Так что, когда Вячеслав от моей очередной подножки распластался на огнистом льду, а я без сил упал рядом, мы оба смущенно рассмеялись. У Славы, кстати, нашлась чекушка «Столичной», и мы приняли на посюшок самым празднично-эксцентричным образом: пили лежа на зеркале здешней акватории, а заплаканная, но уже повеселевшая Марина Снегурочкой стояла в наших заснеженных головах и стыдила нас самыми что ни на есть срамословными выражениями: сказывалась основательная школа Шуры и Паши.

...Расписавшись в пятницу в загсе, мы с Мариной уже мужем и женой на все выходные переполненным до натужной давки «дизелем» уехали в Касторное. Как говорится, к теще на блины. Чес-слово, лучших я нигде и никогда не едал. Не блины, а подлинное произведение искусства. И вовсе даже не кулинарного.

Именно их обе сестры торжественно вынесли в гостиную на больших серебряных блюдах с позолотой да чеканкой узорчатой — явно дореволюционного происхождения. Посуда сия самой что ни на есть Николаевской эпохи загадочно мерцала доподлинным лунным блеском. Смуглые сочные блины с дородной купеческой солидностью устроились во главе стола, устланного плотной льняной скатертью, из себя разномастные по-всякому, но в одном схожие — видом своим эдакие веселые, даже озорные. Какие были из блинов изнеженно тонкие, какие, напротив, увесистые, матерые. А вокруг их царства застольного торжественным хороводом расставились тарелки с молодой прикопченной свининой, увесистыми, налитыми котлетами таких обстоятельных размеров, будто каждая была на лопате жарена, потом же румяные кусмени сома здешнего улова и прочие аппетитные невозможности. Последним приплыл знатный наваристый супец с переливчатым золотистым сиянием, какой только возможен от молодого домашнего петуха: из кастрюли в самом деле грозно выглядывали его воинственные шпоры.

Сестры уважительно, как бы священнодействуя, строго-радостно налили для меня в лафитник пятьдесят граммов чистого спирта.

И, поджав губы, внимательно смотрели на меня.

— Быть добру! — на курский манер проговорил я, усмехнулся и вкусно, аккуратно выпил.

Шура и Паша одобрительно вздохнули.

Утром сестры повели меня «на огород», отороченный густым вишняком с россыпями мелких, ярко-зеленых шишечек будущих ягод.

Посреди огорода, опущенная лебедой и татарником, стояла нараспашку без двери старая бревенчатая хата с пустыми окнами и без крыши, кособоко растопырясь на фундаменте из матерых валунов, почти совсем притопших в густом курском черноземе.

— Надо бы, молодец, убрать с глаз долой эту вековуху, — сдержанно проговорила Александра Ивановна через дымную густоту очередной папиросины. — Глядеть на нее больно. В ней наши батюшка с мамой жили доживали после революции.

Я обошел неказистую хату, бережно потрогал теплые и точно по-своему живые бревна: они лежали плотно, как спаянные, — лезвие бритвы не просунешь, не то, чтобы лом втиснуть.

— Марина говорила, что ваш отец владел почти всеми землями Касторного. На свадьбу особую карету в Воронеже ему на заказ делали. Две мельницы держал. И вдруг такая неприглядная лачуга?

— Эх, зять — ни дать ни взять... — Теща, не дососав папиросу, раздраженно отбросила ее в аляповато запаутиненные кусты малины (подальше от Пашиных глаз), судорожно полезла в пачку за очередной «гильзой». Как видно, ее успокаивал даже не столько процесс курения, сколько самого закуривания, всегда у нее неспешного, сосредоточенного и подчеркнуто деловитого. — Насчет батюшкиного достатка все верно... Только в революцию он наперед углядел, что к чему в стране будет. И, не ожидая раскулачивания, отдал большевикам все до последнего зернышка и последней копейки. В том числе земли, купеческие свои хоромы в два этажа с колоннами да львами. В них сейчас районный клуб последние дни доживает. А себе оставил наш милый-дорогой Иван Терентьевич для пропитания тридцать нынешних соток да вот стоящую перед тобой неказистую черную избенку. Антихристы такую сметливость ему зачили, не тронули. А все пять братьев Ивана Терентьевича, которые не слабей его были своими хозяйствами, когда продразверстка началась, к Антонову подались. Там вскоре каждый свою пулю и нашел.

Как самый что ни на есть подлинный мужик, я интуитивно догадался простучать кувалдой стены и на слух определить самое слабое место. Наконец первое бревно отлетело, трескуче ухнув, а там и второе соскочило, третье за ними загромыхало, пыхнув дымком усохшего мха, прозывавшимся «кукушкиным льном», которым в ту давнюю пору знающие плотники конопатили щели. Кстати, поныне нет лучшего утеплителя, плотного и упругого.

Видя, что дело у меня заладилось, Александра Ивановна уважительно принесла мне деревянный высокий жбан стылого мучнистого кваса, отменно пахнущего мятой.

— На-ко, зятек, побалуйся кисленьким!

Кажется, первый экзамен по предмету «зять — ни дать ни взять» я сдал. По крайней мере, зачет получил.

Спал я в ту ночь как никогда крепко.

Утром, еще по росе, снова был на огороде. Брушил-крушил неумно, в сласть.

Прасковья Ивановна строго-насмешливо посматривала за мной в щелку расшитой пестрыми петухами оконной парчовой занавески.

К вечеру от старой хаты и следа не осталось. Разве что лежавшие, сыро поблескивая, по ее углам большие валуны-обереги, возможно когда-то принесенные в эти черноземные края древними ледниками. Что-то языческое, тайное было в их суровом обличке.

Назавтра, распатав ломом первый камень, я подхватил его под склизкие бока и, поднатужась до ломоты во лбу, тяжелым кособоким шагом оттащил в запаутиненный малинник.

Упав, валункак бы с облегчением тяжело ухнул. Как тугая волна пробила под моими ногами землю.

— Ай да молодец! — тихонько засмеялась теща.

Когда я одолел все угловые валуны, пришла на огород Прасковья Ивановна. Не глядя на нас, нагнувшись, стала что-то бдитительно высматривать в лоснящихся сырым черноземом ямках, оставшихся на месте валунов.

— Паша, че ты там потеряла?.. — нахмурилась Александра Ивановна, не вынимая изо рта уже докуренную до мундштука папиросу: как видно, отсутствие его во рту вызывало у нее ощущение дискомфорта.

— Молчи! — строго отчеканила согбенная Паша. — Долго объяснять. Ты еще мала была, так что не в курсе.

Наконец, она, тяжело задышав, распрямилась и с гордостью протянула нам в мелко дрожавших руках горсть чего-то грязного. Так могли выглядеть монеты, пролежавшие земле лет эдак под сотню. Это они и были.

Взгляд Прасковьи Ивановны потеплел.

— Батюшкины... Закладные... Чтобы на удачу, на счастье... Еще царские, серебряные.

Ее лицо заметно посвежело — на нем ненадолго проглянул зыбкий румянец.

— Этими монетами добрые люди одаряли своего будущего домового...

Как бы там ни было, именно после такой находки что-то в ней ко мне отрицательное поубавилось, если не совсем ушло.

По крайней мере, на другой день вечером она крепко взяла меня за руку и вывела на крыльцо. Близкий соловей, как будто обрадовавшись нашему появлению, ударил что есть мочи во всем своем курском щегольском разнообразии: вначале классическое, раздумчивое «Фить-фить-тех-тех», «тю!-тю!-тю!»; далее непременно требовательное «пить-пить...», а потом веселое, резвое «Пил-пил-пил! Иду-иду-иду! Тр-rrr!», украшенное с оттяжкой, с хрипотцой «трр-х, трр-х» и, наконец, вечное, чистое и звонкое «тю!-тю!-тю!»

Когда соловей взял паузу, Паша показала мне рукой в сторону здешней большой узловой станции:

— Возле путей шпалы видишь?

— Вижу... — глухо сказал я, ничего не видя.

— Я со сторожем договорилась... — как бы сама себе улыбнулась Прасковья Ивановна. — Шпалы бросовые. Их недавно заменили на железобетонные. А про деревянные забыли. К чему это я? Да к тому, что они в нашем хозяйстве обязательно пригодятся... Сарай нам нужен новый.

Я предпочел промолчать и получил легкий, почти дружеский тычок в спину.

— Теперь у нас в доме мужик есть... Он сообразит, что к чему.

Дождавшись настоящей сельской темноты, явственно плотной, мы с Пашей неспешно отправились к станции. Отработавшие свое старые шпалы, дегтярно, муторно пахнущие креозотом, изнуренно, даже мертвенно лежали вповалку. Они чем-то напоминали бойцов, попадавших без сил, где пришлось, после долгого изнурительного перехода.

Одаренный Пашей высоким, но обязывающим званием «мужик в доме», я с напрягом поставил на попа первую шпалу, явно шестипудовую. Все во мне дрожало от напряжения, словно я попал под шальной электрический разряд.

Кажется, я держался на ногах за счет шпалы, поднявшейся во весь свой почти трехметровый рост. Или около того. Сантиметры явно уже ничего не меняли.

Я тупо обнимал шпалу, не представляя, что буду делать с ней дальше. Жирный едкий запах креозота вот-вот мог лишить меня сознания.

— Пошли, герой... — шепнула Паша и, бдитительно оглядевшись по сторонам, шагнула вперед, освещая мне дорогу еще трофейным немецким фонарем «Даймон».

Я мужественно поднырнул под шпалу и медленно, чуть ли не вприглядку понес ее виляющими неровными шагами.

Как бы там ни было, часа через два все шпалы одна к одной лежали у нас в малинике. Кажется, они наконец нашли свое место и, умывшись зрелой росой, благодатно отдыхали вдали от натанцевавших на их спинах стальных рельсов.

Когда теща проснулась и учуяла пробравшийся всюду невыносимый едкий запах шпал, тотчас на всю улицу прогремел ее колокольной мощи голос. Именно на таких его громовых высотах бросилась она отчитывать сестру, что та из жадности не сходила к пивному ларьку и не наняла местных пьяниц, а угробила «нашего» парня.

Я искренне хотел успокоить Александру Ивановну, но у меня не было сил пошевелить языком, а ноги дрожали более чем очевидно.

Заметив такую мою «ломку», теща тотчас решительно взяла из особаго, на ключ обычно закрытого резного шкафчика с царской короной из черно-серебристого мореного дуба граненый стакан. Его темно-золотистое содержимое бодро сияло, будто осколок солнца. Градусная крепость этого изысканного произведения явно зашкаливала и была способна тройне возратить ценителю его растраченные силы. Вкусом напиток был выше всяких похвал, соединив, казалось бы, несоединимое: бодрящую кислинку лимона, огненную яркость привкуса имбиря, нежность малины и дерзость жаркого перца.

— Богатырский напиток, — вдохновенно улыбнулась теща. — По особому рецепту составлен нашим батюшкой, Царствие ему Небесное, место покойное!

Между тем соседи и прохожие из утренних, привлеченные объяснением сестер на более чем повышенных тонах, с любопытством шустро замелькали под нашими окнами, чтобы заценить вдохновенное качество словесного сражения Шуры и Паши. Оно вполне было способно дать душе энергетический заряд на весь день.

Заметив такую радостную стороннюю суету возле их дома, Прасковья Ивановна тотчас решительно вышла на крыльцо. И одним широким махом веерно выплеснула густое содержимое переполненного помойного ведра в сторону кустов желтой акации, за которыми вдохновенно прятались восторженные зрители.

Никто из них не ойкнул: каждый получил свое.

Александра Ивановна величественно улыбнулась: кому, как не ей было не знать в тонкостях тему преступления и наказания. В августе тридцать второго неурожайного они с девками тайком от родителей пошли под вечер на колхозное поле — голод осадить несобранными колосками пшеничными. А Шуре в подол колоски эти клали, как самой совестливой. Пока не налетел с кнутом бригадир, углядев их со специальной дозорной вышки, — глаз у него после гражданской войны был один, но, как у сокола, зоркий: прискакал, между прочим, на лучшем коне из бывшего табуна Шуриного батюшки. В общем, ей, как дочери кулака, объявили десять лет по тогдашнему «дедушкиному указу» — так называли тот в деревне по прозвищу подписавшего его Михаила Ивановича Калинина, всесоюзного старосты.

Только словно бы молитвами Шуриной матушки Матрены Агриппиновны через полгода политбюро спохватилось и потребовало прекратить практику привлечения к суду по закону «о трех колосках» лиц, «виновных в мелких единичных кражах общественной собственности, или трудящихся, совершивших кражи из нужды, по неосознанности и при наличии других смягчающих обстоятельств».

И Шура вернулась по амнистии. Но это уже была другая Шура. Во всем, не считая даже того, что она теперь демонстративно, чуть ли не вызывающе, курила сорокапятикопеечные папиросы «Бокс» из бросовых табачных отходов. Это про них тогда пели на блатной манер: «...выкуришь полпачки, встанешь на карачки, сразу ты становишься другой!» Шура уже в те годы «съедала» пачку в день. По ее словам, та пачка выглядела очень неказисто, была аляповато разрисована и ко всему исполнена из плохой серой бумаги.

Само собой, ничего этого об Александре Ивановне знать не знала и ведавать не ведала бригада шабашников, как-то нанятая сестрами в конце семидесятых строить новый и, конечно же, кирпичный дом. Почти на месте той самой хаты на огороде, что я недавно рассыпал по бревнышкам. Дом предполагался трехкомнатный, на высоком фундаменте. Он должен был иметь кладовую, холодные сени и крыльцо-террасу. Отопление предполагалось устроить по-городскому варианту — хоть и с печью, но водяное, с чугунными батареями. Сказалось и такое веяние нового времени: этот проект без вопросов не предусматривал закуты для животины и птицы.

Когда шабашники подняли первую стену до высоты будущих окон и крикнули Прасковью Иванову заценить работу, она только руками озадаченно развела: внешне сохраняя важность старшей сестры, Паша во всех «мужских» вопросах полагалась на Шуру.

Александра Ивановна была в это время в Воронеже: подыскивала съемную квартиру для Марины, новоиспеченной студентке химфака технологического института. И тут вдруг замутило ей душу непонятное беспокойство: она немедленно отправилась на Курский вокзал и выехала на Касторное первым же «дизелем».

Увидев ее на дороге еще издали, шабашники забавы ради выстроились шеренгой возле возведенной ими стены, сыро пахнущей свежим цементным раствором: все, как один, легко, забавно пьяненькие от пенно-кудрявого пива.

— Как дела, работнички?! — подойдя скорым строгим шагом, деловито напряглась моя будущая теща.

Труженики уныло промолчали.

— Работают, мужики... Особо не балуют... — тихо, несколько растерянно подала голос Паша, не поднимая глаз.

Вскинув голову, Александра Ивановна неспешно подошла к стене и пригляделась, словно ее кирпичи строго пересчитывала. Кажется, она при этом многозначительно улыбалась. При всей строгости лица — одними глазами. Никто не знал, что Шура обладает загадочным талантом видеть насквозь в людских головах и душах всякие-разные процессы и мыслительные подвиги.

— Поберегись! — вдруг глухо вскрикнула Александра Ивановна и, напрягшись, ладонями обеих рук решительно надавила на свежую стену.

Рабочий люд, отяжеленный утренним приемом крайне необходимого им пива с явной добавкой самогонного ускорителя, неуклюже шарханул в разные стороны. Пиво пивом, но они моментально сообразили, что сейчас произойдет.

А произошло то, что слепленная ими очень даже неровная стена развалилась, как костяшки домино, поставленные в ряд. Она грянула оземь, на лету расцепляясь на отдельные, глухо падающие кирпичи.

Александра Ивановна как прошла сквозь стену. То есть в прямом смысле этого выражения. Без какого-то там мистического подтекста.

— Кладите по новой, работнички сраные... — сдержанно проговорила Шура, не поднимая глаз. — И чтобы на этот раз без глупостей. А то всех собак на вас спущу...

Виновато ужавшиеся мужики закивали торопливо, послушно, аки бессознательно нашкодившие дети.

Тем не менее всякий январь Паша на другой день после новогоднего праздника строго-ласково впрягала младшую сестру готовить за себя годовой бухгалтерский отчет по районной ветлечебнице, что всегда было для нее самой невыполнимым высшим пилотажем.

Хмыкнув, Шура величественно садилась за стол, солидно обложенный деловитыми счетами, накладными и прочими финансовыми бумагами. Вид у нее при этом был величественный. Как у человека, уверенно знающего себе цену. Неспроста Александра Ивановна много лет работала в Воронеже на ведущих должностях в бухгалтерии ЮВЖД, а позже так и вовсе стала главбухом знаменитой на весь СССР фабрики отменного мороженого «Холод».

Перепоручив сестре штурм цитадели бухгалтерского мастерства, Паша всякий раз аккуратно, тихо сидела поодаль от вдохновенно играющей цифрами и процентами младшей сестры, окутанной густо-маговой, тяжелой дымовой завесой «Беломора». Кстати, в такие дни Паша не подавала никаких признаков своего недовольства этим азартным пристрастием сестры. Даже не отмахивалась от наплыва многослойных папиросных облаков. Не решалась. Сидела тише мышки.

Так стойко сдерживала себя Паша всю неделю, пока работа упорно творилась от странички к страничке. Более того, придушив характер, во всем радостно-лицемерно угождала сестрице. Тот же, скажем, чаек организовать ей со свойским текучим медом от акации или золотистым абрикосовым вареньем. Рюмочку регулярно подносила и вовсе не с пустяшным содержанием, тем самым, что был возрожден ей по рецепту их славного батюшки и обладал самой настоящей возможностью позволить человеку радостно ощутить за спиной могучие трепетные крылья.

С тех пор как Александра Ивановна утвердила меня на должность Маринино мужа, между мной и тещей, тем не менее, особо теплых от-

ношений достаточно долго не наблюдалось. Даже когда я с ней союзно покуривал на крыльце: она, ясно, свои штатные папиросины «Беломор», я — сигареты, скажем, тогдашние «Ту-134», «Космос», а то и самые настоящие болгарские золотые «БТ» с шикарной надписью под этикеткой — «Продукт исключительного качества. Оригинальный бренд БУЛГАР-ТАБАК».

Само собой, процесс дымления всегда предполагает определенное неформальное общение курильщиков.

Его у нас с Александрой Ивановной не было.

Наконец, я как-то в такую минуту очередного совместного и обычно молчаливого курения с почти мальчишеским задором радостно объявил теще:

— Недавно я дал поглядеть свои стихи одному известному воронежскому поэту. И они ему понравились! Частично, конечно. Он, кстати, руководит сейчас всеми воронежскими писателями!

— Это не наш ли касторенский Володька Гордейчев? — иронично прищурилась теща.

— Да... Владимир Григорьевич... — удивленно промямлил я. — А вы его знаете?..

— Я забыла больше, чем ты знаешь!.. — с солидной степенностью проговорила Александра Ивановна. — А Володька — он нам, пусть и далекая, но родня. Я его, чертенка, с пеленок воспитывала, чтобы настоящим мужиком рос! А его в стихи занесло с дуру ума... Но вот кроссворды он так ловко разгадывает, что никому за ним не угнаться! Влет! Бывало, едем с ним в «дизеле» домой, так он в минуту с любым по сложности расправляется. А ты так способен?

— Да нет... — перенапрягся я и покраснел, кстати, как-то странно, нелепо, — одной щекой, точно от недостатка в организме нужной краски. — Меня эти всякие разные ворды никогда не интересовали... Ни кросс, ни кей, ни скан или те же чайн.

— Ну и зря! — строго прищурилась Александра Ивановна. — Башка чиста — мощна пуста. А вообще ты кроме моей Маринки и своих никому не нужных стихов что любишь?

Вот тут и произошло чудо.

— Фильмы Тарковского... — глухо, но не без вызова, не без некоторой робкой дерзости объявил я.

Александра Ивановна с некоей снайперской внимательностью зорко стрельнула по мне снизу вверх густым взглядом своих отчетливо черных глаз. Как бы там ни было, они чем-то напоминали живущие во вселенских даях загадочные черные дыры. Наверное, тем, что их роднило одно свойство: они ненасытно поглощали в себя весь окружающий мир.

— А ты, милок, «Андрея Рублева» видел? Или «Солярис»? — как бы экзамеуя меня, отчетливо и требовательно проговорила теща.

— Мои любимые... — радостно выдохнул я. — А еще «Сталкер»!

— Нравится мне невозможно Андрей Арсеньевич! Но ни с кем здесь об этом не поговоришь от души! — как-то раскрепощенно, с удовольствием рассмеялась Александра Ивановна и немедленно зарядила рот новой папиросиной.

— Сочувствую... — чуть ли не шкодливо проговорил я, не ведая тогда, что через восемнадцать лет моя теща умрет с Тарковским в один год тысяча девятьсот восемьдесят шестой и в один с ним декабрьский день, двадцать девятого числа.



— Сапог ищет сапога, а лапоть лаптя, — внушительно проговорила мне Александра Ивановна, обретя вместе с очередным отрадным глотком табачного дыма свою обычную гордо-строгую интонацию.

Как видно, неспроста ее батюшка на своей свадьбе вокруг Касторного на лакированной белой с царственными золотыми вензелями карете круги нарезал: была в их породе явная знатная царственность, да с веками заплуталась в своих бесчисленных родовых ветвях.

Самым радостным днем для Шуры и Паши во всей их касторенской эпопее стал день, когда мы с Мариной впервые приехали втроем: с нами был трехмесячный сын Саша. Его рождение стало для нас счастливейшим праздником праздников, но тот с первых минут потускнел перед заполошной, надрывной радостью бабушек. Они с первых минут принялись капризно отнимать Сашулю друг у друга: каждая сердито вождедела самолично тетешкать «малого», решительно, гневно, до задыха обвиняя всех остальных в бестолковом неумении обращаться с ребенком. В общем, их восторженная ревность не знала предела. Мне даже моментами казалось, что результаты ее могут оказаться достаточно плачевными. В любом случае, невозможно было не заметить, что для Шуры и Паши с первых минут ребенок стал заглавным в нашей пополнившейся семье по всем признакам, включая разумность, сообразительность, толковость и уже явно проклюнувшийся прадедушкин характер истинного волевого и достойного мужика, которого ждет подлинное знатное будущее. Рядом с их обожаемым внуком я в глазах Шуры и Паши однозначно выглядел чем-то второстепенным и, может быть, даже вовсе не обязательным. Как тут было мне не вспомнить печальную судьбу богомолов-самцов.

Однако на другой день обе мои тещи неожиданно переменялись и посуровели. Что-то непонятное мне с приближением вечера волновало их все заметней. Они чаще и чаще стали тревожно коситься в окна. Более того, то одна, то другая или даже обе вместе выходили на крыльцо, а то и за калитку — сторожко прислушивались и напряженно вглядывались вдаль.

— Вы гостей каких-то ждете? — внимательно посмотрел я на Марину.

— Вроде того... — многозначительно улыбнулась она.

— Уж не Славку ли Саликова? — объявил я по-возможности безразличным голосом. — Слышал-слышал, что он уже назначен генеральным директором авиазавода...

— Ого, сколь отелловской ревности в Вашем голосе, сэр! — сочувственно улыбнулась Марина.

Тем не менее, суета обеих сестер явно усиливалась. К ночи она достигла апогея, когда Прасковья Ивановна перед нашим поздним ужином торжественно-строго поднесла мне сполна налитую золотистым спиртом с корицей серебряную, ярко начищенную старинную стопку. К этому серьезному напитку прилагался на тяжелой серебряной вилке желтовато-зеленый, словно покрытый сплошь бородавками, плотный огурец, — эдакий махотка крокодыльчик, густо и сладко пахнувший укропом, хреном и еще чем-то неповторимо забористым.

— Ну-ка, малый, прими добрую граммуклю. Для храбрости отчаянной!

Я выпил, недоумеваю. И все-таки с должным молодцеватым азартом. Взгляд у меня явно осмелел.

— Еще одну налей малому... — оценив выражение моего лица, вдумчиво проговорила теща.

В итоге я выпил три полноценных славных стопаря и съел с особой мужицкой хваткостью кусок за куском румяной чесночной свинины, запеченной в духовке на живом огне грушевых поленьев.

Наконец еда перестала проходить в меня, и я перенасыщено отвалился от стола.

— Еще кусочек? — как пропела душевно надо мной Александра Ивановна с особой загадочной интонацией.

— Вот уж нет! Вот уж спасибо! — тяжело улыбаясь, едва выдохнул я. — Целых три куска умял!

— Положим, четыре... — произнесла теща с таким видом, словно собиралась нежно обнять меня. — Да кто за тобой считал?!

Прасковья Ивановна внимательно, но не без некоторой лукавой хитринки, оглядела меня.

— Теперь наш парень справится... — вдумчиво сказала она.

— Годен! — отчетливо резюмировала теща.

— Опять шпалы носить или уголь колоть?!

Александра Ивановна торжественно шагнула ко мне. Я машинально заметил, что она почему-то держит руки за спиной.

— Вот тебе оружие, зятек! Защити им бедных старух!

Теща подала мне добротный сыромятный кнут с тугой петлей на конце: ни дать, ни взять настоящий «кистень».

— Вы с Маринкой как раз приехали на Петров день, — строго вздохнула Шура. — При батюшке мы на него всегда ходили под утро в поле «караулить» Солнце: верили, что оно на восходе раскидывает ленты, однако увидеть это дано только счастливым. Но теперь на Петров день один сплошной разбой: ребятня, какая постарше, шухарит ночами без укороту — уводят у соседей коров, свиней выпускают из закута, кладут неохватные бревна поперек дороги, крепят над дверью ведро воды, замазывают окна. Но против кнута они не решатся пойти!

До рассвета мы просидели на крыльце с Александрой Ивановной, уговорив по пачке — она «Беломора», я классного «БТ». Парадокс советского времени: скажем, в Воронеже такого курева было днем с огнем не сыскать, а в Касторном — пожалуйста. Или книга редкая и интересная, какую в городе по блату не достать, здесь всегда ждала тебя на прилавке уютного книжного магазинчика, располагавшегося на въезде в центральное село. Так что, приезжая, я по дороге со станции всегда в него заныривал, как на праздник. Выходил не раньше, чем через час с непременно подарками для себя и Марины вроде полного собрания сочинений Ивана Бунина, сборника Антона Чехова «Палата № 6» или трехтомника Салтыкова-Щедрина «Культурные люди».

В самом деле, оказалась Петрова ночь беспокойной, шухарной: с пересвистами, азартными мальчишескими криками и их архаровским ором на все Касторное. То доносились пацаньи песни типа «кого-то жуют под бананом», то девчонки азартно, осласливлено повизгивали, а какая-то баба заполошно вопила время от времени, разгоняя пацанву. Участвовали в этом особом действе и легендарные курские соловьи, разбавлявшие бедовую ночь своими классическими коленцами.

Одним словом, никаких серьезных покушений на наше подворье в моем «богатырском» дозоре обнаружено не было. Но вовсе без мальчишеского озорного разбоя не обошлось: ребятня втихую разобрала деревянный мосток через здешнюю реку-ручеек Вшивку, а часу в четвертом, рассветном, пацаны зажгли старое тракторное колесо и на палке катали его по

улицам Касторного. Роня мохнатое червленое пламя, оно выглядело жутковато, чуть ли не апокалиптически. Маловероятно, что мальчишками двигало старинное поверье, будто так можно узнать, в каком доме живут здешняя ведьма или колдун. Якобы у «нехорошего» жилья колесо должно было бы непременно взорваться, а тайный чародей (чародейка) с воплем вылететь в трубу.

Этот эзотерический эксперимент сорвал Жорик-Матрос, конюх местной ветлечебницы, прозванный так соответственно его бывлой службе на Северном флоте. Возможно, он и отвел самую настоящую огненную беду от поселка. Жорик-Матрос, грозно понукая свою старую лошадку с поэтическим прозвищем Акация, вдруг объявился перед мальчишеской ватагой самым настоящим храбрым витязем-воителем. Притом азартно размахивал над головой пугающе высвистывающей собачьей цепью, сверкавшей, как молния, бликами густо горевшего тракторного колеса. Правда, нашлись-таки потом очевидцы, которые утверждали, что, скорее всего, оружием Жорику-Матросу служил на самом деле его бывлой флотский ремень с золотистой старшинской бляхой, помеченной якорем со звездочкой. А что вместо шлема он использовал алюминиевую кастрюлю, так это однозначно. Правда, распугало мальчишек не сиплое улюлюканье конюха ветлечебницы, не шепелявый посвист его цепи или порепанного ремня: престарелая лошадка Акация померещилась им в предутренней хмари самым настоящим богатырским Сивкой-Буркой, под копытами которого земля робко дрожит, из очей коего искры пыхают, из ноздрей дым кудрявый вьется, из заду головешки пылающие валяются. В общем, горы и доли он промеж ног пропускает, малые реки хвостом застиляет, широкие — перепрыгивает.

Как раз в то утро невиданная раскидистая гроза девятым валом надвигалась на Касторное, по пути задиристо, вертко поигрывая тяжелыми красно-синими молниями, так что мальчишкам и не то могло привидеться.

Как бы там ни было, закатив от греха подальше свое огненное колесо в здешнюю реку-ручеек Вшивку, они вприпрыжку разбежались по домам с озорным посвистом, провожаемые заполошным трескучим клетотом лягушек.

Мы же с Александрой Ивановной всю ночь на крыльце азартно говорили о фильмах Андрея Тарковского. Только что на экраны вышел снятый им в Швеции фильм «Жертвоприношение», и это был первый фильм мастера, который моя теща не приняла. Само собой, по политическим мотивам — за то, что Тарковский стал невозвращенцем.

Как я достаточно скоро смог убедиться, в касторенской, да и не только, сельской жизни одним из самых сакральных событий всегда были и поныне остаются два особых процесса, тесно связанных один с другим: сажать картошку и выбирать ее. Само собой, в центре всего этого знатного действия в Касторенских краях стоял Жорик-Матрос. Если летом и зимой касторенский народ про него забывал, то весной и осенью он был всем крайне потребен.

— А в иное время так со мной, глядишь, и не всякий поздоровкается! — усмехаясь невесело, определял Жорик свое социальное положение. — Ничего! Будет и на моей улице праздник. Вот тогда сочтемся славой!

У него одного в поселке имелась лошадь, так что Жорик сам очередь устанавливал со всеми вытекающими и втекающими последствиями. А

его угрозы свести с кем-то счеты им быстро забывались. Жорик вполне осознавал свою высокую ответственность и поэтому никого не обижал: даже Прасковья Ивановна, будучи главным бухгалтером ветлечебницы, как и все, ходила к Жорик-Матросу уважительно договариваться поставить их с Шурой в очередь «насчет лошадки». Уважительно — это значит не с пустыми руками, и разговаривала непременно с просительными, чуть ли не заискивающими интонациями. После которых Паша потом три дня отплевывалась.

День для посадки или выкапывания «картошки» никакие метеосводки не определяют. И спутники такому делу не пособники. Надо вживе чувствовать природу, ее настроение. Такая обязанность лежала именно на Жорике. По весне и осени люди ему только что в рот не заглядывали: терпеливо ждали те самые его магические слова, хорошо известные всем: «Чтой-то сегодня моя лошадка копытом больно шибко била!» Это на его языке означало, что пора сажать или копать картофель.

Договорившись с Матросом насчет лошади, с утра пораньше мои женщины ловко латали мешки и пришивали к ним тесемки. Мне же было велено собирать по саду яблоневую падалицу — полакомиться всласть Жоркиной лошадке. Словно подманивая, торопя конюха, с утра томились на печи его любимые макароны по-флотски и был наготове спирт из запасов ветлечебницы, старательно настоянный Пашей на зверобое и иванчае. После стакана-другого такого волшебного зелья с лица Жорика-Матроса будто лет тридцать испарялось, и он тогда совсем молодцом разрозовевшимся чуть ли не юношеским румянцем. Он всласть командовал и на огороде, и за столом, без сидения за которым всем гуртом копачей картофеля никак не могло обойтись такое серьезное, почти историческое действие. Матрос неумемно танцевал подряд со всеми женщинами. Однако чаще других он выхватывал из-за стола именно Пашу, но это, тем не менее, никаких дальнейших серьезных последствий не имело. Как и тот факт, что Жорик однажды подарил ей свою фотокарточку в грачино-черной матросской шинели на фоне бело-голубого Андреевского флага.

В тот день ждали мы Жорика до полудня, а с полудня ждали до обеда.

В ожидании Матроса первой, как всегда, теряла всякое терпение Прасковья Ивановна: даже ногами принималась топтать, точно исполняя некий шальной танец. Следом за ней суровела и начинала сердито гоношиться теща.

Вот тут не дай Бог случиться самому рядовому приблизительному дождю, силы которого едва хватит слегка притемнить влагой касторенские крыши.

— Досиделись!!! — мельком глянув в окно, отчаянно прокричала Прасковья Ивановна.

Тотчас заполошно подхватила и Александра Ивановна. Само собой, прежде зарядив себя новой папирсой.

В итоге все мы, наспех одевшись потеплей, поспешили на огород срочно выбирать картошку «под лопату», пока погода совсем не испортилась.

— Не ругайся, Паша дорогая! — вдруг раздался за плетнем певучезычный гордый голос Жорика.

Он стоял жердью у наших ворот, держа под уздцы свою понурую, скучную Акацию.

— Я специально для вас за новой сохой ездил! Такая пенек зацепит железной коронкой — «цок»! И слетел тот на раз! Двадцать пять рублей заплатил, не пожалел, ради вас, девьки мои золотые! А на старой сохе у

меня уже ладонь между зубьями проходила, а у этой только два пальца и просунешь! Рвет и мечет!

Жорик влет наломал веток в саду и разнес их по огороду, бдитительно выткая там, где в земле прятались большие камни.

Сняв с телеги новую соху, старательно закрепил ее между оглоблями.

— А ну, пошла, родимая! — озорно крикнул Жорик, и Акация, приоглившись на хозяина, как бы хмыкнула ему в ответ усталой улыбкой, оголившей истертые темно-желтые резцы.

Пошатнувшись, лошадка рывком тронулась.

За ней от ее новых кованых подков оставались на земле глубокие блестящие вмятины.

— Лошадка у меня модница, ради праздника на шпильках сегодня!!! — озорно крикнул Жорик-Матрос, ровно ведя соху и чуть припадая в коленях на каждом шагу. — Я бы с ней в цирке выступал, только боюсь, она там музыкой своего брюха благородный воздух напрочь испортит!

Прошли почти весь огород, когда лошадь вдруг тревожно дернулась и стала, виновато покосившись на хозяина.

Жорик тотчас сообразил: коняга подвернула ногу. Отпахались, одним словом.

— Спокойно, девьки, спокойно...

Он аккуратно распряг Акацию и бережно вывел на траву. Та опасливо прихрамывала и тревожно озиралась, словно ища в наших лицах понимание того, что с ней произошло и что будет дальше.

Хлопнув себя по ляжкам, чтобы придать своему длинному жилистому телу необходимое ускорение в нужном направлении, Матрос, прыгая с борозды на борозду, враскачку поскакал к телеге. Через минуту-другую, судорожно хэкая, он приволок на огород ручной ржавый плуг — его лемеха давным-давно не вспарывали землю, остатки которой, как некая мрачная опухоль, намертво прилипли к ее лемехам.

Теща моя и ее старшая сестра, увидев такое нелепое кособокое чудюдо, не сговариваясь, внимательно, как бы даже оценивающе поглядели на меня.

Я ждал, что Александра Ивановна сейчас всенепременно торжествующе произнесет какую-нибудь культовую философскую фразу из своей бездонной копилки народной мудрости, в которой пренепременно центровым смыслом озорно-колко топорщились ершистые слова: «зять — ни дать, ни взять».

Однако сестры сосредоточенно промолчали. Прасковья Ивановна так даже поглядела на меня еще раз, но уже с некоторым потаенно-сдержанным сочувствием.

— Поди-ка сюда, малой... — вдумчиво проговорил Жорик-Матрос.

Еще ничего толком не понимая, я шагнул к нему.

Он тотчас с силой крепко похлопал меня по плечу, словно хотел убедиться, надежно ли я стою на ногах.

— Годится! — уверенно, бодро проговорил конюх. — Будем запрягать парня!

Строго, хватко, но ладно переплел он меня ремнями, соединяя в одно целое с сохой. При этом приговаривая себе под нос своим опустошенно беззубым ртом: «Не дергайся, не замай дедушку. Все рядышком там будем».

Даже кнут в руки взял и весело гыкнул:

— Это я для пущего юрмора. — Кашлянув, объявил с явно армейской бодрой и веской интонацией: — Трогай, орел!

И навалился на рукоятки плуга.

До боли уперевшись животом в ремень, я нахраписто потянул по борозде наше незамысловатое сооружение явно эпохи первого черепановского паровоза.

С первого шага меня невольно завалило, со второго я едва не пал на колени, но метров через пять как врос в этот плуг, ощутил свою силу и пошел упорно, ровнехонько, с настырным азартом.

Только сейчас я сполна уловил яркий духмян раскучуроченной земли: густо пахло ее живительным нутряным темным соком. Этот черноземный аромат вдвое придал мне сил.

Мы с Жориком основательно поперли на пролом. Разбегайся, народ, сила идет!

Чтобы управиться до настоящего дождя, сестры скорехонько позвали соседей: тут так вообще принято, чтобы вместе, всем кагалом, собирать картофельный урожай. Однако по-всякому бывает — на этот раз отозвались только Буратино с Буратинихой и, само собой, Докука, известная тем, что вроде Жорика весной и осенью становилась нужна всем — очень она отзывчиво всегда помогала. Правда, за ней была известна такая странность, что Докука всегда отказывалась от платы, а когда приглашали за стол, ела мало и вовсе не пила. Только потом она всегда присылала свою внучку набрать ведро никому не нужных, нападавших по всему саду яблок или слив.

Когда я распыхал последние борозды, и вывернутый сохой розовый, с фиолетовыми крапинами картофель уже лежал поверх земли, огород стал напоминать гигантский развороченный муравейник, который рябит россыпью яичек. Наполненные пятиведерные мешки стояли по нему, как степные каменные бабы. Кажется, тонны три сообща собрали. По крайней мере, моя спина именно этот вес показала к вечеру, не менее.

А через дня два-три, как подсохнет наш увесистый картофельный урожай, приедут за ним по десятилетиями установившейся практике шахтеры с Донбасса и ссыплют нам за него свой уголь добротный, с искрой фиолетовой — антрацит плитный.

Усталые, сели мы, где стояли. Как обычно бывает с наработавшими-ся людьми, даже не глядели друг на друга.

— Ну, до свидания, люди добрые... — стомленно проговорила Докука. — Если не станете возражать, я к вам сейчас внучку пришлю яблок набрать. Мне яблоки у вас очень нравятся! Особенно «комсомолка», которая внутри вся красная. И сок у нее красный!

— Пусть приходит, — строго сказала Александра Ивановна, разыскивая по карманам халата папиросы с судорожным напряжением человека, явно давно не курившего — то есть минут двадцать. — Они у нас все равно пропадают. Поросенка уже не держим. Не по силам. Только теперь, соседка, надо бы пообедать! Уже и по времени пора!

Докука, почему-то покраснев, все равно хотела уйти, но Жорик-Матрос не разрешил, навалившись ей на плечо:

— Сиди, красавица! Ох, какие вы все бабы красивые! Даже не знаю, в какую бы мне влюбиться на недельку!

И важно, лукаво взял Докуку под руку:

— Пошли в дом, разнеможная ты моя! Мы сейчас с тобой у всех в почете! Лови момент, красотулька!

На первое сестры с щедрым уважением подали гостям огненный варистый куриный суп с золотистой блистающей поволокой и ядерной домашней лапшей. К ним приложены были мордатые сочные котлеты, похожие на панцири блескучих черепашек, да не виданные тогда еще никем из касторенцев темно-алые китайские помидоры «Черный принц» и, само собой, свойские нежно-колючие огурцы-крокодилычки. Те трескуче, бодро постреливали на зубах.

Сообща трапезничали в радость, хватко — со счастливыми улыбками.

...На следующий год по осени решила Александра Ивановна спилить в саду старые обветшалые яблони и груши. Вкусом да сочностью они поныне не имели себе равных, но урожайность их стала штучная, а подгнившие стволы ждали первого азартного ветра.

Объявив такое решение, Шура невольно всплакнула. Деревья еще в начале прошлого века сажал с работниками ее батюшка Иван Григорьевич Тимошенко.

Мою кандидатуру на эту работу Александра Ивановна без размышлений отклонила, несмотря на все мои прежние достаточно явные заслуги: я успешно управлялся с тяжеленными рельсовыми шпалами, не согнулся под пятиведерными мешками с картофелем и оказался способен вместо лошадки напористо тянуть по огороду соху.

Работа в саду требовала особого умения.

Ко всему Александра Ивановна, оценив ее предстоящий масштаб, объявила вердикт:

— Надо идти к Сашке Клину.

За три года в зятях я составил вполне достаточное представление о колоритных поселковых фигурантах: таких, скажем, как конюх ветлечебницы Жорик-Матрос, Докука, чета Буратино, потом же сторож магазина дед Демоняка или уборщица в здешней школе бабка Пятилетка. Можно было припомнить и еще пару-тройку звучных имен. Положим, бывший завуч по прозвищу Дубняк, завклубом Юрка Кувшин...

Про Сашку Клина я услышал впервые. И почему-то невольно представил себе некую сокрушительную субстанцию с пугачевским топором за поясом.

— Клин Клином вышибают! — само собой вырвалось тогда у меня.

При этом я был вместо ответа удостоен такого взгляда Александры Ивановны, какой обычно ловил на себе, если, например, никак не мог зачерпнуть ведром воду из колодца или отрубить голову курице так, чтобы она потом в особом экстазе полчаса оглашено не носилась без нее по саду, при этом неведомо как ориентируясь и успешно лавируя между деревьев.

Настроившись назвать Сашку Клина, Александра Ивановна несколько раз ходила «до него». В конце концов, они сговорились. Это была самая настоящая дипломатическая победа моей тещи — в эту пору к Сашке Клину, как и к Жорик-Матросу, подступиться непросто: они были нарасхват. С ними весной да осенью все касторенцы здоровались по отчеству. Так они оба на время становились один Георгием Степановичем (Жорик-Матрос), а другой, Сашка Клин, Александром Васильевичем. Оба признавались, что слышать им свои настоящие имена было как-то непривычно и неловко.

Загодя Прасковья Ивановна рано утром по осенней, муторной темноте отправилась со мной в райцентр на базар. Собирался тот уже часов в

шесть и достаточно скоро опустевал: осенняя заключительная работа на земле настойчиво торопила народ.

Казалось бы, все у сестер для стола имелось свое, свойское: на чердаке под крышей в марлевом коконе вялился тяжелый, подкопченный окорок, в холодном погребе томилась под прессом кишка сальтисона из свиной рульки с разными мудреными добавками, а веранда была густо увешана золотистыми косами луковых маковок, кулачками чеснока, словно обтянутыми березовой корой. Здесь же основательно стояла и дубовая, вековая кадушка-бабушка с ржаным, мутно-матовым квасом, поверху затянутым склизкой зеленью мятных и смородиновых листьев. Карие глазки изюма вальяжно плавали в нем, украшая белесый квасной лик, как веснушки лик девушки.

Только кто у нас посадит работающего мужика за стол без мяса? Куры вареные, окорока, сальтисон или холодец таковыми не считались и проходили по части закуски. Одним словом, деревенский стол, на котором в заглавии нет знатных котлет — сирота. Так что у касторнцев они такой же непрменный атрибут праздничного гостевого обеда, как у американцев жареная индейка или карп у чехов.

Сил же держать теленка или порося у сестер уже не было. А наши с Мариной и Сашей наезды по выходным мало что могли изменить в лучшую сторону. Вот и застучала березовая палочка Прасковьи Ивановны в сторону базара, сторожко предупреждая от недобрых поползновений окрестных собак. Выбор мяса доверялся только ей: она на добрый правильный кусок особое чутье имела, у всех других из нас явно отсутствующее. Возможно, сказывалась ее долгая работа на ветлечебнице.

Не менее часа потратив на сосредоточенный, вдумчивый обход базара, Паша, наконец, определилась, повеселела и с удовольствием после честного строгого торга купила глянувшиеся ей куски: непременно и свинину, и говядину. Выбор правильного мяса — половина успеха сооружения достойных представительниц котлетного царства. Такие особые, ответственные произведения у сестер всегда вполне удавались: эдакие пышные мясные черепашки, набухшие горячим, розоватым соком. Их дородная царственность подчеркивалась знатной застольной свитой: матовыми, отварными картохами, сальтисоном, на срезе похожим на красно-серый с белыми вкраплениями мрамор, сизо-мутным куриным холодцом, запаянным поверху тягучим перламутровым жирком, и разными там бочковыми соленостями, включая знаменитые здешние моченые яблоки — полупрозрачные, чуть ли не светящиеся изнутри.

Само собой, не могла быть не приготовлена сестрами и питейная норма Сашки Клина — за труды праведные разбейся, но выстави ему полтора литра достойного первача-хреновухи всенепременно с медом, желательно гречишным. Иное горячительное, включая самые лучшие магазинные импортные напитки, Сашка не уважал и не пользовал.

Так что признанный им богатырский напиток едва ли не дегтярного цвета с красным перцовым отливом был жаране у сестер наготове — в массивном, еще батушкином графине, облепленном пузырястой шершавостью стеклянных виноградных кистей, а вместо пробки — нежно и целомудренно целующиеся ангелочки.

В субботу в назначенный ранний час Александра Ивановна избегалась за калитку на взгорок высматривать Сашку в осеннем провислом тумане.

Наконец, вдалеке глухо послышался хорошо знакомый ей голос настойчивого, усердного мотора.



— Едет! — гордо, чуть ли не со слезой вскрикнула теща. — Уважил, разбойник!

Александра Ивановна радостно осенила себя мелким, как бы потаенным крестом, словно наложила его не на всю себя, а только на свою душу, и бросилась разносить воротную изгородь.

Вскоре во двор, скрипя и подрагивая, вкатилась своим ходом затрапезная, выдавшая виды телега на резиновом ходу. Такое же впечатление могла разве что произвести печь, на которой сказочный Емеля разъезжал по щучьему велению.

На телеге, подстелив свежего сенца, рулил худой, морщинистый мужик лет сорока с коротким, будто подрезанным носом.

Он подал мне руку, не сходя со своей самобеглой телеги. Рука неожиданно оказалась ломовой силы, какая может быть разве что у металлического рычага.

За спиной Клина на задке судорожно трепыхался невесть из какого металлолома собранный движок. Там же торчала когтистая дисковая пила. Вид у нее был задиристый, нахальный.

Сашка Клин сбросил рваную фуфайку, шустро подлез под телегу и начал там что-то сноровисто, деловито рассоединять и соединять, ловко перекидывая ключ из руки в руку, словно колдовал им.

Когда он пустил моток, пила азартно рванулась, разметав в клочья вокруг себя густо сосредоточенный утренний мрачный туман.

Приступив к работе, Сашкина телега, медленно накатившись на старое и какое-то из себя сказочно-мохнатое дерево, хватко, с захлебистым подвывом цапнула сталью по стволу. Яблоню проняла мелкая, знобкая дрожь. А пила тем временем уже напористо пошла через нее насквозь.

И вот уже первое дерево слетело, смертно треща сучьями. Пока я их отсекал топором, Клин завалил другое, третье...

К обеду сад сиротски поредел. Свежие мшистые пеньки омертвело торчали тут и там. Я поджег ворох сучьев, и пламя, особенно яркое, кровависто-живое среди осенней серой пожухлости, стало раз за разом взрывчато кидаться вверх, словно отчаянно порывалось куда-то улететь.

Клин с гордостью огляделся и ни с того ни с сего вдруг с пафосом проговорил, как итог масштабный подвел своей работе: «И на Марсе будут яблони цвести!»

Ел он на веранде. Сесть за стол в комнате Клин отказался. Его самоходную телегу многие заказывали, но ни у кого Сашка в дом не проходил: стеснялся своей неопрятности.

Я не верил, но Клин за вечер только так управился с полуторалитровым графином — нормой угощения, которую хорошо знали за ним во всех окрестных селах. Ел Сашка почему-то держа тарелку на коленях. В ход на закус шли в основном сало и лук. Приготовленные для него образцово-показательные генеральские котлеты остались нетронутыми.

После угощения Сашка никогда за руль не садился. Выпил, закусил и свалился под стол. Чуть погодя, когда сон уже крепко засосал его, Александра Ивановна положила Сашке под голову подушку и накрыла мужика старым комкастым одеялом, каким в большие морозы укутывала сруб колодца, чтобы лед на воде не так быстро матерел.

Уехал Клин под утро, затемно. Я еще спал. Бог его знает, как он впотьмах управлялся со своим агрегатом на истерзанной касторенской дороге...

...А года через три Сашка Клин погиб: чтобы свою якобы щедрость

надо всеми поднять, поднесла ему какая-то бестолочь угощение сверх нормы, а утром ехать ему надо было по-над Вшивкой по правому берегу такой высоты, словно земля здесь все свое нутро выперла наружу.

Оскользнувшись, телега сбросила наземь Сашку. Обрыв там был такой, что он летел под откос все быстрее и быстрее: в итоге душа его не выдержала такого очередного насильственного испытания и торопливо покинула тело. А телега, оставшись без хозяина, отчаянно набрала столь невиданную для нее скорость, словно реально хотела рвануть в небеса вслед за Сашкиной душой.

С тех пор мне, бывает, иногда при взгляде на небо нет-нет, да и покажется смутно, что она действительно там, в далеком междузвездье, так-таки догнала наконец своего мастера и тарыхтит сейчас с ним, где-нибудь по столбовой дороге Млечного Пути. Может быть, для них и его шустрой пилы нашлась какая-никакая работа в Райском Саду?.. В замещение Адама, первого садовника? Всякое может быть.

Тем не менее, в этой, казалось бы, простой истории, поныне осталось для меня что-то безответное, серьезное, год от года все более важное — и не дает покоя, тревожит необъясненным смыслом особого, «клиновского» житья-бытья. Ищу его и не найду. И все-таки ищу.

Годами, а может быть, и десятилетиями невесть каким образом установилась у кастренцев душевная традиция: после октябрьского непреходящего праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который был ими почитаем как символ особого покровительства Богоматери Русской земле, уже после всех основных трудов полевых и огородных, они, не сговариваясь, начинали друг за дружкой подтягиваться к дому моих обеих «тещ». Первыми у их акациевой живой изгороди тихим вежливым скопцем собирались в повечерье соседи близкие и дальние, а потом подходил, налегая торопким шагом, народ не только кастренский, но и из окрестных сел. Кто сам топал, кто полной семьей появлялся, как они все говорили — «девок послушать!»

В такой день мои Ивановны еще с обеда невольно начинали сторожко поглядывать через окно на большак, пока еще практически пустой, безлюдный. Чаще собака через дорогу торопливо проскочит, чем путник какой-никакой объявится.

Но вот уже темень густится, мрачнеет, устало раскладываясь по низинам и посадкам.

Сестры не соревнуются, кто прежде увидит гостей, но каждая из них со счастливым напряжением всегда желает стать первой. И вот наконец у Шуры или Паши срываются взволнованные заветные слова:

— Идут, идут! Глякося, потянулся народ... — взволнованно вскрикнет одна.

— А то! — в ответ светло улыбнется другая.

Далее Шура и Паша вместе приникают к окну, дыхание их спутывается.

А люди прибывают. Наконец уже нагущается возле двора самая настоящая плотная толпа. В ней всегда эдаким воеводой выделяется Журик, торжественно восседающий на старой понурой Акации. Само собой, без седла.

И всех этих разных, нередко вовсе незнакомых людей отличает одно общее — одеты они явно в самое лучшее из своего достаточно скудного сельского гардероба. Лишь кто-то, случайно здесь впервые оказавшийся,

неопрятно выделяется до блеска затертой рабочей фуфайкой или нахлебавшимися чернозема стоптанными галошами — так он невольно норовит спрятаться за спинами.

Сестры чуть ли не влюбленно глядят друг на друга и вот-вот, кажется, горячо обнимутся и радостно всплакнут.

— Айда?.. — наконец тихо вопрошает одна.

— Пора, мать! — твердо, согласно отзывается другая.

Настроение у них явно самое боевое.

Перекрестившись на кухне у икон и накинув большие пестрые шали, делающие их похожими на больших гордых птиц, обе они плечом к плечу выходят на крыльцо.

Степенно, но не без торжественности поклонившись народу, рассаживаются на ступеньках лицом друг к другу. Точно приготавливаясь к какому-то серьезному, вдумчивому разговору. Само собой, Александра Ивановна является народу без своей коронной папиросы в насмешливо сомкнутых губах.

Берутся за руки...

И вот она, невесть откуда, точно наплывая с высот заоблачных, тихо выходит на простор к людям — первая зачинная песня.

Народ ошеломленно вздрагивает, оживает и взволнованно подается вперед — осмелев, уже за калитку во двор кто-то входит, в каждом своем шаге соблюдая достойную аккуратность.

А песня возрастает, окрыляется:

«Видю чудное приволье, вижу нивы и поля — это русское раздолье, это русская земля!»

Слышно, как кто-то припоздавший со всех ног сюда спешит торопливо, чавкая калошами или сапогами по осенней склизкой грязи.

«Не корите меня, не браните, не любить я его не могла...» — вдохновенно ведут сестры, как будто сокровенно делятся только что случившейся с ними горькой историей.

Голоса у них подхватистые, налитые ярким звуком, от которого словно свет между ними всеми бережно распускается, восходит живым явлением.

А за спиной у Шуры и Паши в дверях тихо подпевает Марина, не смея обьявлять во всю силу свой голос — ее время еще впереди.

Расходятся люди далеко за полночь, когда особенно душисто и свежо пахнет осенними яблоками и пахотной землей. С добрым чувством расходятся, что главная точка накануне зимней глухоты-немоты у всех у них в душе зримо поставлена, на все морозные месяцы ее достанет.

Многие по дороге домой начинают сами раззадорено вести самую запавшую в душу песню, никак не желая с ней расстаться. Так что со всех сторон по всему Касторному тогда радостно, емко разносится: «Окрасился месяц багрянцем...», «Ты помнишь, изменник коварный...» или, скажем, «Поедем, красотка, кататься». Словно люди вот так, песнями, между собой радостно, спаянно перегариваются, никак не желая расстаться, сообщая друг другу что-то самое заглавное в этой жизни их, самое неистребимое, сердечное.

В такой день, уже на излете его, песня входила почти в каждый касторенский дом, счастливо, возрадованно преображая его. Как перед Великой Пасхой или той же всеми вдохновенно любимой Троицей.

Как бы там ни было, в такой звучный, певучий вечер редко кто воздерживался от чарочки, без которой самая счастливая, самая вдохновенная песня нужной задорности и напора никак иметь не может, хоть ты тресни.

...А однажды в конце лета вечером после работы мы с Мариной увидели в прихожей листок бумаги, на котором было написано отчетливым каллиграфическим почерком нашего сына пятиклассника-отличника Саши: «Я уехал в Касторное помочь бабушкам чистить колодец. А еще эта поездка нужна мне для 1 сентября, когда мы будем писать сочинение о малой родине. Я родился в Воронеже на улице Среднемосковской, но все равно считаю своей малой родиной Касторное. И даже не старайтесь меня переубеждать. Только, пожалуйста, не волнуйтесь».

Едва успев на последний «дизель», мы приехали за полночь и пока шли с Мариной со станции, над нами во всей бесконечной масштабности нависали емко сияющие жители галактики: небо прохладно и густо пахло звездами, которые расположились так низко, что головой их можно было зацепить. Несмотря на волнение, мы с Мариной чувствовали себя словно живущими в центре Вселенной.

На родном крыльце тихо, устало пели обе наши Ивановны. Между их голосами застенчиво протискивался крепнувший тенорок Саши.

И я вдруг понял, что у меня отныне тоже есть малая родина, она здесь, я твердо стою на ней и готов немедленно доказать сей факт, написав на эту тему самое честное-пречестное сочинение. Вот оно — перед Вами, люди добрые.

